

Престарелая вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже лет сорок держит семейный пансион в Париже на улице Нёв-Сент-Женевьев, что между Латинским кварталом и предместьем Сен-Марсо. Пансион под названием «Дом Воке» открыт для всех: для юношей и стариков, для женщин и мужчин, — и все же нравы в этом почтенном заведении не вызывали нареканий. Но, правду говоря, там за последние лет тридцать и не бывало молодых женщин, а если поселялся юноша, то это значило, что от своих родных он получал на жизнь очень скудно. Однако в 1819 году, ко времени начала этой драмы, здесь оказалась бедная юная девица. Как ни подорвано доверие к слову «драма» превратным, неуместным и расточительным его употреблением в скорбной литературе наших дней, здесь это слово неизбежно, и не потому, что наша повесть драматична в настоящем смысле; но, возможно, что кое-кто, закончив чтение, прольет над ней слезу *intra* и *extra muros*¹. А будет ли она понятна и за пределами Парижа? В этом можно усомниться. Подробности всей этой драмы, полной и местных наблюдений и местных красок, найдут себе достойную оценку только между холмами Монмартра и пригорками Монружа, в долине, знаменитой своими постройками из щебня, готовыми в любое время рухнуть, и водосточными канавами, черными от грязи; в долине, где истинны одни страдания, а радости нередко ложны, где жизнь бурлит так жутко, что лишь необычайное событие может оставить по себе хоть сколько-нибудь длительное впечатление; а все-таки порой и здесь встретишь горе, которому сплетение пороков и до-

¹ В черте города и в его предместьях (*лат.*).

брых чувств придает торжественность и величавость: перед его лицом корысть и себялюбие отступают, давая место жалости; но это чувство проходит так же быстро, как ощущение от сочного плода, проглоченного наспех. Колесница цивилизации в своем движении подобна колеснице идола Джагернаута¹: наехав колесом на человеческое сердце, но не такое хрупкое, как у других людей, она, едва запнувшись, уже крушит его и продолжает свой достолавный путь. Вроде этого поступите и вы: взяв эту книгу холеной рукой, усядетесь поглубже в мягком кресле и скажете: «А может быть, все это развлечет меня?» Прочтя про тайные отцовские невзгоды Горио, покушаете с аппетитом, а свою бесчувственность вы отнесете за счет автора, упрекнув его в преувеличении и осудив за поэтические вымыслы. Так знайте: эта драма не выдумка и не роман. «All is true»² — она до такой степени правдива, что всякий найдет ее зачатки в себе самом, возможно, в своем сердце.

Дом, занятый под семейный пансион, принадлежит г-же Воке. Стоит он в нижней части улицы Нев-Сент-Женевьев, где местность, снижаясь к Арбалетной улице, образует такой крутой, обрывистый подъем и спуск, что конные повозки тут проезжают очень редко. Это обстоятельство способствует обычной тишине на улицах, запрятаных в пространстве между куполом на Валь-де-Грас³ и куполом на Пантеоне⁴,

¹ Джагернаут — статуя, один из вариантов воплощения индийского бога Вишну.

² «Все правда» (*англ.*, цитата из Шекспира).

³ Валь де Грас — парижский военный госпиталь в старинном монастырском здании.

⁴ Пантеон — архитектурный памятник XVIII века, первоначально католическая церковь; во время буржуазной революции была превращена в усыпальницу. Надпись на фронтоне гласит: «Великим людям — благодарная родина».

где эти два величественных здания изменяют световые явления атмосферы, пронизывая ее желтыми тонами своих стен и омрачая все суровым колоритом куполов. Здесь мостовые сухи, в канавах нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава; самый беспечный человек, попав сюда, становится печальным, как и все здешние прохожие; грохот экипажа является событием, дома угрюмы, от глухих стен веет тюрьмой. Случайно попавший туда парижанин не увидит ничего, кроме семейных пансионов или учебных заведений, скуки или нищеты, умирающей старости и жизнерадостной, но вынужденной трудиться юности. В Париже нет квартала более ужасного и, надобно заметить, менее известного.

Улица Нев-Сент-Женевьев, как некая бронзовая рама, достойна больше всех служить оправой этому рассказу, которое требует возможно больше серьезных мыслей и темных красок, чтобы читатель уже сначала проникся настроением, подобным чувству путешественника при спуске в катакомбы, где с каждой ступенькой все больше меркнет дневной свет, все глуше раздается протяжный голос провожатого. Верное сравнение! Кто решит, что более ужасно: взирать на черствые сердца или на пустые черепа?

Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой угол с улицей Нев-Сент-Женевьев, откуда видно только боковую стену дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенный щебнем неглубокий желоб шириной в туаз¹, а вдоль него песчаная дорожка, окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в больших вазах из белого и синего фаянса. Для входа на дорожку с улицы сделана калитка; над ней прибита вывеска: «ДОМ ВОКЕ», а ниже: «Семейный пансион для лиц обоого пола

¹ Туаз — старинная мера длины, равная 1 м 945 мм.

и прочая». Если заглянуть днем в решетчатую калитку со звонким колокольчиком, то против улицы, в конце канавы, видна стена, где местный живописец нарисовал арку под зеленый мрамор, а в ее нише изобразил статую Амура. Глядя теперь на этого Амура, покрытого лаком, уже начавшим шелушиться, охотники до символов, пожалуй, усмотрят в статуе эмблему той парижской любви, последствия которой лечат по соседству. На время, когда возникла эта декорация, указывает полустершаяся надпись под цоколем Амура, свидетельствуя о восторженном приеме, оказанном Вольтеру при возвращении его в Париж в 1777 году:

Кто б ни был ты, о человек,
Он твой наставник, и навек.

К ночи вход закрывают, уже не решетчатой дверцей, а глухой.

Садик, шириной во весь фасад, заключенный между забором со стороны улицы и стеной соседнего дома, совершенно скрытого занавесой из плюща, настолько живописен для Парижа, что привлекает взор прохожих. Все стены вокруг сада затянуты фруктовыми шпалерами и виноградом, причем из года в год их пыльные и чахлые плоды становятся предметом опасений г-жи Воке и бесед ее с жильцами. Вдоль стен проходит узкая дорожка и ведет под кушу лип, или *липп*, как г-жа Воке, хотя и из рода де Конфлан, упорно произносит это слово, несмотря на грамматические указания своих нахлебников. Меж боковых дорожек разбита прямоугольная куртина с артишоками, обсаженная щавелем, петрушкой и латуком, а по углам ее стоят пирамидально стриженные плодовые деревья. Под сенью лип врыт в землю круглый стол, окрашенный зеленой краской, и вокруг него поставлены скамейки. В разгаре лета, когда бывает такое пекло,

что можно выводить цыплят без помощи наседки, здесь, наслаждаясь тенью, распивают кофе те из постояльцев, кто достаточно богат, чтобы позволить себе такую роскошь.

Дом в четыре этажа с мансардой выстроен из известняка и выкрашен в тот желтый цвет, который придает какой-то пошлый вид почти всем домам Парижа. В каждом этаже пять окон с мелким переплетом и с жалюзи, но ни одно из жалюзи не поднимается вровень с другими, а все висят и вкривь и вкось. Боковой фасад лишь в два окна, при этом оба нижних без всяких украшений и забраны решеткой из железных прутьев. Позади дома двор шириною футов в двадцать, где в полном единении живут свиньи, кролики и куры. В глубине двора стоит сарай для дров; между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, а под ним проходит сток для кухонных помоев. Со двора на улицу Нев-Сент-Женевьев пробита маленькая дверца, в которую кухарка сгоняет весь домашний мусор, щедро пользуясь водой, чтобы очистить эту свалку, во избежание штрафа за распространение заразы.

Нижний этаж был словно нарочно приспособлен под семейный пансион. Первая комната с окнами на улицу и стеклянной входной дверью представляет собой гостиную. Гостиная сообщается со столовой, которая отделена от кухни клеткой лестницы, деревянные ступеньки которой выложены квадратиками, покрыты краской и натерты воском. Трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этой гостиной: стулья и кресла обиты волосяной материей в полоску, блестящую и матовую попеременно; середину гостиной занимает круглый стол с доской из черно-крапчатого мрамора, а на столе, для украшения, кофейный сервиз белого фарфора с потертыми золотыми ободками, какой найдешь теперь повсюду. Пол настлан кое-как, стены обшиты панелями до уровня плеча, а выше оклеены глянцевитыми обоями

с изображением главнейших сцен из «Телемака»¹, где действующие лица античной древности изображены в красках. В боковом простенке, между решетчатыми окнами, глазам пансионеров открывается картина пира, устроенного в честь сына Одиссея нимфой Калипсо. Эта картина уже лет сорок служит мишенью для насмешек молодых нахлебников, воображающих, что, издеваясь над обедом, на который обрекает их нужда, они тем самым ставят себя выше своей участи. Камин, судя по неизменной чистоте пода, топился лишь в самые торжественные дни, и ради украшения на нем стоят замечательно безвкусные часы из синеватого мрамора, а по бокам их — два стеклянных колпака над ветхими букетами искусственных цветов в двух вазах.

В этой первой комнате стоит особый запах: он не имеет соответствующего наименования в нашем языке, но его следовало бы назвать *запахом пансиона*. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль; он вызывает содрогание, бьет чем-то мозглым в нос, пропитывает собой одежду; отдает столовой, где только что кончили обедать; воняет кухмистерской, лакейской, богадельней. Описать его, быть может, и удастся, когда изыщут способ выделить все тошнотворные составные его части — эти особые, болезненные запахи, исходившие от каждого молодого или старого нахлебника. И вот, несмотря на этот пошлый ужас, если сравните вы гостиную со смежною столовой, то первая покажется изящной и благоуханной, как будуар.

Столовая, доверху обшита деревом, когда-то была выкрашена в какой-то цвет, но он теперь уже неуловим и служит

¹ «Приключения Телемака» — роман французского писателя Фенелона (1651 — 1715). В нем повествуется, как Телемак отправился на поиски своего отца Одиссея и после кораблекрушения оказался у нимфы Калипсо на одном из островов у берегов Греции.

только грунтом, на который наслоилась грязь, разрисовав его причудливым узором. По стенам — липкие буфеты, где пребывают шербатые и мутные графины, поддонники из жести со струйчатым рисунком, стопки толстых фарфоровых тарелок с голубой каймой — изделие Турнэ¹. В одном углу поставлен ящик с нумерованными отделениями, чтобы хранить в них залитые вином или просто грязные салфетки, для каждого нахлебника отдельно. Тут еще встретишь мебель, изгнанную отовсюду, но несокрушимую и помещенную сюда, как помещают отбросы цивилизации в больницы для неизлечимых. Тут вы увидите барометр, откуда вылезает капуцин, когда дождь уже пошел; мерзкие гравюры, от которых пропадает аппетит, — все в лакированных деревянных рамках с золочеными ободками; настенные часы, отделанные рогом с медной инкрустацией; зеленую муравленую печь; кенкеты Аргана², где пыль смешалась с маслом; длинный стол, покрытый клеенкой, настолько грязной, что весельчак-нахлебник пишет на ней свое имя просто пальцем за неимением стилоса; искалеченные стулья; соломенные жалкие циновки — в вечном употреблении и без износа; затем дрянные грелки с развороченными продуктами, обуглившимися ручками и сломанными петлями. Трудно передать, насколько вся эта обстановка ветха, гнила, щелиста, неустойчива, источена, крива, коса, увечна, чуть жива, — понадобилось бы целое описание, но это затянulo б развитие нашей повести, чего, пожалуй, не простят нам люди занятые. Красный пол — в щербинах от подкраски и натирки. Короче говоря, здесь царство нищеты, где нет

¹ Турнэ — город в Бельгии.

² Кенкеты Аргана — названные по имени фабриканта Кенкета — лампы с резервуаром для масла и двойным поддувалом. Изобретены швейцарским физиком Арганом.

намека на поэзию, нищеты потертой, скардной, сгущенной. Хотя она еще не грязь, но полна пятен, хотя она еще без дыр и без лохмотьев, но скоро превратится в тлен.

Эта комната бывает в полном блеске около семи часов утра, когда, предшествуя своей хозяйке, туда приходит кот г-жи Воке, вскакивает на буфеты и, мурлыча утреннюю песенку, обнюхивает чашки с молоком, накрытые тарелками. Вскоре появляется сама хозяйка, нарядившись в тюлевый чепец, откуда выбилась прядь накладных, неряшливо приколотых волос; вдова идет, пошмыгивая разношенными туфлями. На жирном, потрепанном ее лице выступает нос, прямо из середины, как клюв у попугая; пухлые ручки, раздобревшее, словно у церковной крысы, тело, чересчур объемистая, колыхающаяся грудь — все гармонирует с залой, где сочится горе, где притаилась алчность и где г-жа Воке без тошноты вдыхает теплый, смрадный воздух. Холодное, как первые осенние заморозки, лицо, окруженные морщинами глаза выражают все переходы от деланной улыбки танцовщицы до зловещей хмурости ростовщика — словом, ее личность предопределяет назначение пансиона, как пансион определяет назначение ее личности. Каторга не бывает без надсмотрщика — одно нельзя себе представить без другого. Бледная пухлость этой барыньки — такой же продукт всей ее жизни, как тиф есть следствие заразного воздуха больниц. Шерстяная вязаная юбка, вылезшая из-под верхней, сшитой из старого платья, с торчащей сквозь прорехи ватой, воспроизводит в сжатом виде гостиную, столовую и садик, говорит о свойствах кухни и дает возможность предугадать состав нахлебников. Появлением хозяйки картина завершается. В возрасте около пятидесяти лет вдова Воке похожа на всех женщин, *видавших виды*. У нее стеклянный взгляд, безгрешный вид сводни, готовой вдруг

раскипятиться, чтобы взять подороже, а впрочем, для облегчения своей судьбы она пойдет на все: предаст и Пишегрю и Жоржа¹, если бы Жорж и Пишегрю могли быть преданы еще раз. При всем этом она, в сущности, баба неплохая, говорят о ней нахлебники и, слыша, как она кряхтит и хнычет не меньше их самих, воображают, что у нее нет денег. Кем был г-н Воке? Она никогда не распространялась о покойнике. Как потерял он состояние? Ему не повезло, — гласил ее ответ. Он плохо поступил с ней, оставив ей лишь слезы, да этот дом, чтобы существовать, да право не сочувствовать ничьей беде, так как, по ее словам, она перестрадала все, что в силах человека.

Заслышав семенящие шаги своей хозяйки, кухарка, толстуха Сильвия, торопится готовить завтрак для нахлебников-жильцов. Нахлебники со стороны, как правило, абонировались только на обед, стоивший тридцать франков в месяц.

Ко времени начала этой повести жильцов-пансионеров было семь. Второй этаж состоял из двух помещений, лучших в этом доме. В одном — поменьше — жила сама Воке, другое занимала мадам Кутюр, вдова интендантского комиссара времен Республики. С ней проживала совсем юная девица Викторина Тайфер, которой мадам Кутюр заменяла мать. Годовая плата за содержание обеих доходила до тысячи восьмисот франков. Из двух комнат в третьем этаже одну снимал старик по имени Пуаре, другую — человек лет сорока, в черном парике и с крашеными ба-

¹ Шарль Пишегрю — генерал, одержавший ряд побед в годы революции. Участвовал в заговоре Кадудаля против Бонапарта. Оба были выданы одним из заговорщиков. Жорж Кадуваль — один из вождей реакционного восстания в провинции Вандея в годы Французской буржуазной революции. В бытность Бонапарта Первым консулом Кадуваль возглавил заговор сторонников короля.

кенбардами, который выдавал себя за бывшего купца и звался г-н Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат, из них две занимали постоянные жильцы: одну — старая дева мадемуазель Мишоно, другую — бывший фабрикант вермишели, пшеничного крахмала и макарон, всем позволявший называть себя папашей Горио. Две остальные комнаты предназначались для перелетных птичек, тех бедняков-студентов, которые, подобно мадемуазель Мишоно и папаше Горио, не могли тратить больше сорока пяти франков на стол и на квартиру. Но г-жа Воке не очень дорожила ими и брала их только за неимением лучшего: уж очень много ели они хлеба.

В то время одну из комнат занимал молодой человек, приехавший в Париж из Ангулема изучать право, и многочисленной семье его родных пришлось обречь себя на тяжкие лишения, чтоб высылать ему тысячу двести франков в год. Эжен де Растиньяк — так его звали — принадлежал к числу тех молодых людей, которые приучены к труду нуждой, с юности начинают понимать, сколько надежд возложено на них родными, и готовят себе блестящую судьбу, хорошо взвесив всю пользу от приобретения знаний и приспособив свое образование к будущему развитию общественного строя, чтобы в числе первых пожинать его плоды. Без пытливых наблюдений Растиньяка и без его умения войти в парижские салоны колорит повести утратил бы те верные тона, которыми она обязана, конечно, Растиньяку, его прозорливому уму и его стремлению проникнуть в тайны одной трагической судьбы, как ни старались их скрывать и сами виновники ее, и ее жертва.

Над четвертым этажом находился чердак для сушки белья и две мансарды, где спали слуга по имени Кристоф и толстуха Сильвия, кухарка.

Помимо семерых нахлебников-жильцов, г-жа Воке кормила, глядя по году, однако же не меньше восьми, — студентов, юристов или медиков, да двух-трех завсегдатаев из своего квартала — все абонированные только на обед. К обеду в столовой собиралось восемнадцать человек, а можно было усадить и двадцать; но по утрам в ней появлялось лишь семеро жильцов, причем их сборище за завтраком имело вид семейной трапезы. Все приходили в ночных туфлях, откровенно обменивались замечаниями по поводу одежды или облика нахлебников со стороны, по поводу событий вчерашнего вечера, беседуя по-дружески и откровенно. Эти семеро пансионеров являлись баловнями г-жи Воке, с точностью астронома отмерявшей им свои заботы и внимание в зависимости от цены за пансион. Ко всем этим существам, сошедшимся по воле случая, применялась одна мерка. Два жильца третьего этажа платили всего лишь семьдесят два франка в месяц. Такая дешевизна, возможная только в предместье Сен-Марсо, между Сальпетриер и Бурб¹, где плата за содержание г-жи Кутюр являлась исключением, говорит о том, что здешние пансионеры несли на себе бремя более или менее явных злополучий. Вот почему удручающему зрелищу всей обстановки дома соответствовала и одежда завсегдатаев его, дошедших до такого же упадка. На мужчинах сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь такая, какую в богатых кварталах бросают за ворота, ветхое белье — словом, одна *видимость одежды*. На женщинах вышедшие из моды, перекрашенные и снова выцветшие платья, старые, штопаные кружева, залоснившиеся от вре-

¹ Сальпетриер — богадельня для неимущих престарелых женщин в Париже. Бурб — укоренившееся в народе название одного из родильных приютов для низших сословий. Французское слово «la burbe» означает грязь.

мени перчатки, неизменно желтоватые воротнички и на плечах дырявые платки. Но если такова была одежда, то тело почти у всех оказывалось крепко сбитым — организм выдержал натиск житейских бурь, лица холодные, жесткие, полустертые, как изъятая из обращения монета. Увядшие рты вооружены хищными зубами. В этих нахлебниках угадывались драмы уже законченные или еще в действии: не те, которые играют при свете рампы, в расписных холстах, а драмы, полные жизни или же застывшие, немые, но горячо волнующие сердце, драмы, которым нет конца.

Старая дева Мишоно носила над слабыми глазами грязный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, способный отпугнуть самого ангела-хранителя. Шаль с тощей, плакучей бахромой, казалось, облекала один скелет — так угловаты были формы, сокрытые под ней. Надо думать, что некогда она была красива и стройна. Какая же кислота стравила женские черты у этого создания? Порок ли, горе или скупость? Не злоупотребила ли она утехами любви, не промышляла ли торговлей старым платьем или была просто куртизанкой? Не искупала ли она триумфы дерзкой юности, к которой хлынули потоком наслаждения, старостью, обращавшей прохожих в бегство? Теперь ее пустой взгляд нагонял холод, загрубевшее лицо стало зловещим. Тонкий голосок звучал, как стрекотание кузнечика в кустах перед наступлением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то стариком, страдавшим от катара мочевого пузыря, а дети бросили его, решив, что у него нет денег. Старик оставил ей пожизненную ренту в тысячу франков, но время от времени наследники оспаривали это завещание, возводя на Мишоно всяческую клевету. Ее лицо, истрепанное бурями страстей, еще хранило признаки когда-то белой, тонкой кожи, наводившие на мысль, что в формах ее тела осталось кое-что от прежней красоты.

Г-н Пуаре напоминал собою какой-то автомат. Вот он блуждает серой тенью по аллее Ботанического сада: на голове старая, помятая фуражка, рука едва удерживает трость за пожелтевший набалдашник слоновой кости, выцветшие полы сюртука болтаются, не закрывая ни коротеньких штанов, надетых будто на две палки, ни голубых чулок на тоненьких, трясущихся, как у пьяницы, ногах, а сверху смотрит грязная белая жилетка и вылезает заскорузлое жабо из дешевого муслина, отделяясь от скрученного галстука на индюшачьей шее; у многих, кто встречался с ним, невольно возникал вопрос: не принадлежит ли эта китайская тень к дерзкой расе сынов Иафета, порхающих по Итальянскому бульвару? Какая же работа так скрючила его? От какой страсти потемнело это шишковатое лицо, что и в карикатуре показалось бы невероятным? Кем был он раньше? Быть может, он служил по министерству юстиции, в том отделе, куда все палачи шлют росписи своим расходам, счета за поставку черных покрывал для отцеубийц, за опилки для корзин под гильотиной, за бечеву к ее ножу. Он мог быть и сборщиком налога у ворот бойни или помощником смотрителя, ведавшего народным здоровьем. Словом, этот человек, как видно, принадлежал к выючным ослам на нашей великой социальной мельнице, к парижским Ратонам, даже не знающим своих Бертранов¹, был каким-то стержнем, вокруг которого вертелись несчастья и людская скверна; короче, одним из тех, о ком мы говорим: «Что делать, нужны и такие!» Эти бледные от нравственных или физических страданий лица неведомы нарядному Парижу. Но Париж —

¹ Ратон и Бертран — персонажи басни французского баснописца Лафонтена «Обезьяна и Кот», в которой обезьяна Бертран заставляет кота Ратона вытаскивать для нее из огня горячие каштаны.

это настоящий океан. Бросьте в него лот, и все же глубины его вам не узнать. Не собираетесь ли обозреть и описать его? Обозревайте и описывайте, старайтесь как угодно: сколько бы ни было исследователей, как ни велика их любознательность, но в этом океане всегда найдется не тронутая ими область, неведомая пещера, жемчуга, цветы, чудовища, нечто неслыханное, упущенное водолазами от литературы. К такого рода чудищам относится и «Дом Воке».

Здесь две фигуры представляли разительный контраст со всей группой остальных пансионеров и нахлебников со стороны. Викторина Тайфер, правда, отличалась нездоровой белизной, похожей на бледность малокровных девушек; правда, обычная в ней грусть, стесненная манера поведения, жалкий, хилый вид подходили к общему страдальческому настроению — основному фону всей картины, но лицо ее не было старообразным, в движениях, в голосе сказывалась живость. Эта юная горемыка напоминала пожелтевший кустик, недавно пересаженный в неподходящую почву. В желтоватых тонах ее лица, в рыжевато-белокурых волосах, чересчур тонкой талии проявлялась та грация, какую современные поэты видят в средневековых статуэтках. Исчерна-серые глаза выражали кротость и христианское смирение. Простое, недорогое платье облегалo девические формы. В сравнении с другими можно было назвать ее хорошенькой, а при счастливой доле она бы стала восхитительной: поэзия женщины — в ее благополучии, как в туалете — ее краса. Когда б веселье бала розоватым отблеском легло на это бледное лицо, когда б отрада изящной жизни округлила и подрумянила слегка ввалившиеся щеки, когда б любовь вдохнула жизнь в эти грустные глаза, — Викторина могла бы поспорить с любой самой красивой девушкой. Ей не хватало того, что женщину

перерождает: тряпок и любовных писем. Ее история могла бы стать сюжетом целой книги.

Отец Викторины находил какие-то причины не признавать ее, отказывался жить с ней вместе и не давал ей больше шестисот франков в год, а все свое имущество он обратил в такие ценности, какие можно было передать целиком сыну. Когда мать Викторины, приехав к дальней своей родственнице, вдове Кутюр, умерла от горя, г-жа Кутюр стала заботиться о сироте, как о родном ребенке. К сожалению, эта вдова интендантского комиссара времен Республики не имела ровно ничего, кроме пенсии да вдовьего пособия, и бедная, неопытная, ничем не обеспеченная девушка могла когда-нибудь остаться без нее одна, на произвол судьбы. Каждое воскресенье добрая женщина водила Викторину к обедне, каждые две недели — к исповеди, чтобы воспитать ее на всякий случай благочестивой девушкой. Г-жа Кутюр была права. Религиозные чувства открывали какое-то будущее перед этим отвергнутым ребенком, который любил отца и каждый год ходил к нему, стараясь передать прощенье от своей матери, но ежегодно натывался в отцовском доме на неумолимо замкнутую дверь. Брат ее, единственный возможный посредник между ними, за все четыре года ни разу не зашел ее проведать и не оказывал ей помощи ни в чем. Она молила Бога раскрыть глаза отцу, тронуть сердце брата и, не осуждая их, молилась за обоих. Для характеристики их варварского поведения г-жа Кутюр и г-жа Воке не находили подходящих выражений в лексиконе бранных слов. В то время как они ругали бесчестного миллионера, Викторина произносила кроткие слова, похожие на воркованье раненого голубя, где в тоне скорби все еще звучит любовь.

У Эжена Растиньяка было лицо типичного южанина: кожа белая, волосы черные, глаза синие. В его манерах, обраще-